

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

КНИГИ
ИРИНЫ МУРАВЬЁВОЙ —
ПОДЛИННОЕ УКРАШЕНИЕ
ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ,
ИЗЫСКАННАЯ ПРОЗА
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ
В ЛИТЕРАТУРЕ:

- Любовь фрау Клейст
- Веселые ребята
- Портрет Алтовити
- День ангела
- Напряжение счастья
- Сусанна и старцы
- Жизнеописание грешницы Аделы
- Страсти по Юрию
- Вечер в вишневом саду
- Полина Прекрасная
- Райское яблоко
- Соблазнитель
- Имя женщины — Ева
- Ты мой ненаглядный!
- Дневник Натальи
- Елизаров ковчег
- Младенческие опыты женщины
- Шестая повесть И.П. Белкина

Семейная сага «Я вас люблю»:

- Барышня
- Холод черемухи
- Мы простимся на мосту

ИРИНА
МУРАВЬЁВА

СОБЛАЗНИТЕЛЬ



МОСКВА
2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М91

Художественное оформление серии
А. Старикова

Муравьёва, Ирина.
М91 **Соблазнитель / Ирина Муравьёва.** — Москва :
Издательство «Э», 2017. — 288 с. — (Любовь к жизни.
Проза И.Муравьёвой).

ISBN 978-5-699-98504-3

В бунинском рассказе «Легкое дыхание» пятнадцатилетняя гимназистка Оля Мещерская говорит начальнице гимназии: «Простите, madame, вы ошибаетесь. Я — женщина. И виноват в этом знаете кто?» Вера, героиня романа «Соблазнитель», никого не обвиняет. Никто не виноват в том, что первая любовь обрушилась на нее не романтическими мечтами и не невинными поцелуями с одноклассником, но постоянной опасностью разоблачения, позора и страстью такой сокрушительной силы, что вряд ли она может похвастаться той главной приметой женской красоты, которой хвастается Оля Мещерская. А именно — «легким дыханием».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-98504-3

© Муравьёва И., 2017
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2017

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Дочке было семь лет, она уже месяц ходила в ту самую школу, где Вера была восьмиклассницей, а сам он работал учителем. И жена его, женщина молодая, с холодным и одновременно затравленным лицом, каждый день приходила забирать свою дочку после уроков и ждала в вестибюле, ни с кем не разговаривая, не вступая ни в какие обсуждения, а просто сидела, отстраненная, надменная и несчастная, как будто бы знала, что ей суждено всю жизнь глотать горькие слезы стыда. А раньше, до осени этой, была и веселой и нежной, любила смеяться, а тут вдруг — как заледенела.

Первого сентября они вместе с мужем привели в школу свою румяную, в огромных бантах, девочку, а шестого сентября муж признался ей в таком, что у нее остановилось дыхание. Вокруг была жизнь, и ходили, скользя по мокрой листве, загорелые люди, кричали и пели, и пахло арбузом, последние астры цвели на газонах, но

все это было как будто не с ними, как будто они уже и не имели с простой этой жизнью своей прежней связи.

Так в чем он признался? Постойте, не сразу. Конечно, на свете случается разное. И мало ли всяких страннейших признаний, и мало ли боли от этих признаний? Жена его, носящая чудесное имя Елена, за девять лет брака привыкла ко многому. Вернее сказать: он ее приучил. Он предупредил, что ей с ним будет трудно. Она не поверила, но согласилась. Пусть трудно, но только бы с ним. Она подбирала за ним его мысли, привычки и шутки, и все сохранялось внутри ее сердца, и там, в ее сердце, за все эти годы так много всего набралось, просто страшно. Коллекция целая, остров сокровищ. Она относилась к нему не как к мужу, законному спутнику и компаньону, а как к господину — слуга, как рабыня, хотя до него и до этого брака в ней не было даже следов униженья, тем более рабства. Откуда же рабство, когда она дочка отца-генерала, любимая дочка? Отец, правда, умер, но мать-то жива. А тут ее словно бы заколдовали. Ну, парень как парень, глаза голубые. И взгляд очень пристальный, в самую душу. Увидела и обмерла, заболела. Люблю, не могу без тебя, не могу. Хоть режь на кусочки, хоть жги на костре. Не хочешь жениться, я так могу жить. Но он почему-то женился, как будто и сам тосковал без семьи.

Когда после свадьбы он переехал к ним на Тверскую в прекрасную большую квартиру, где

мать-генеральша только что сделала ремонт и поменяла мебель, так что теперь даже в кухне стояли обтянутые золотистой парчой стульчики, а полог у материнской кровати был просто музейным, и днем этот полог, приспособленный в пухлые складки, с трудом продевали в кольцо ярче золота, — когда он переехал из своего костлявого и облупленного Нагатина в эти ослепительные покои, и матери-генеральше, и самой Елене сразу стало ясно, что ему не только наплевать на все это, но даже немного мешает. Он как-то сказал, что любовь их с Еленой зачахнет внутри золотистого плюша, поскольку любви нужен лес и дорога, а если уж золото, то натуральное: к примеру, пшеница, шумящая в поле.

Но и мать, поначалу высоко вскидывающая брови при виде его не снятых после дождя и уличной грязи башмаков, и робкая до удивления Елена, с лицом то испуганным, то восхищенным, молчали. Он часто просил ее:

— Дай мне, Елена, побыть одному. Я подумать хочу.

Она не мешала. Она подчинялась, как будто ее воспитали не в школе, не в детском саду, не в советской семье, а где-нибудь в монастыре, на отшибе, на севере Франции средневековой, откуда она вышла кроткой, но сильной, не знающей жизни и одновременно готовой к любым испытаниям судьбы.

— О чем он там думает, детка? Не знаешь? — шептала ей мать.

— Нет. Откуда я знаю?

— Одни выкрутасы, — шипела ей мать. — Наплачемся мы. Вот увидишь, наплачемся.

Его «выкрутасы» она тоже знала. Они заполняли их ночь, и Елена стремилась к тому, чтобы он был доволен ее этим белым податливым телом, и не пресыщался ее восхищением, и не уставал от ее поцелуев. Она уже знала, что делать, как делать, она исполняла любые желанья. Сначала с испугом, потом с иступленной и нежной готовностью. Любовь, даже рабская и бестолковая любовь молодой, очень преданной женщины к мужчине, которым она так гордится, всегда придает ее внешности блеска. Елена цвела, она переливалась, и к ней приставали другие мужчины, которые думали, что раз такая, то, может, и выгорит. Не выгорало.

Они прожили почти девять лет, оба окончили университет, родили дочку с широким лицом, как у матери, и отцовскими глазами, голубыми и выпуклыми, назвали ее Василисой в честь деда (а дед был Василием). Мать-генеральша опять побелила везде потолки и вскоре купила ковер, правда, дорого, но очень уж он подошел им по стилю.

Заканчивался еще по-летнему теплый, но уже не по-летнему темный вечер, окна были открыты, и к ним во двор стекались проститутки, потому что с самой осени тысяча девятьсот девяносто

девятого года именно их двор был местом собрания этих отбившихся от честной и правильной жизни девчат. Они повисали на детских качелях, свободных, поскольку детишки все спали, сидели вокруг тускло-серой песочницы, дымя сигаретами и матерясь, а парни, плечистые, крепкие парни, всегда молчаливые и безразличные, глядели на них из машин, подзывали, и девушка шла так, как будто не знает, зачем подзывают и что теперь будет, а после садилась в машину, и юбка ее задиралась почти до трусов. Присматривали за любовным хозяйством два славных сержанта: Сережа и Саша; им все доверяли, и Саша с Сережей, устав от надзора, бывало, ласкали во время дежурства, не отлучаясь, какую-нибудь из невыбранных девушек: им тоже хотелось внимания и неги.

Итак, заканчивался вечер, дочка спала, а они стояли на кухне в полутьме, и он, глядя на нее в упор своими выпуклыми глазами, сказал, что работать учителем в школе ему очень трудно. И все объяснил. Другая женщина, наверное, закричала бы, или ударила его по небритой щеке, или бросилась бы под золотой полог к родной своей матери, чтобы и мать вскочила, крича, проклиная и плача, но наша Елена не сделала этого. Она опустилась на стул, побледнела при этом так сильно, что и полотенце, которым они вытирали посуду, казалось румяным в сравнении с нею. Ни рук и ни ног больше не было, словно их кто-то отрезал без боли и крови.

— Не знаю, что делать, — сказал ее муж, — смотрю на нее, а все мысли такие, что... Невмоготу.

— Ты что, извращенец? — спросила она.

— Нет. Впрочем, не знаю.

— Зачем ты сказал мне об этом? За что?

— Скрывать от тебя ничего не хочу.

И он замолчал.

С этого вечера их пути разошлись: Елена отправилась в ад, в лютый холод, а он поселился повыше, в тепле. В аду пахло кислым железом и рвотой, и рядом сновали какие-то тени, наверное, подруги ее по стыду. Муж, голубоглазый, с открытой душой, жил дома и спал на одной с ней постели, но ей стало страшно ночами с ним рядом.

ГЛАВА II

Вере было шесть лет, когда она впервые почувствовала любовь. Она жила на даче с бабушкой и многочисленными бабушкиными родственниками, а мама, оставшись в Москве, боролась то с папой, то с кем-то за папу, и в этой борьбе была вся ее жизнь. И тут к ним на дачу приехал Володька. Он тоже был чьим-то, наверное, родственником. Его поселили в садовом сарайчике. Она его помнила даже сейчас: прыщавый, скуластый и тощий Володька был на удивление легким и ловким. Он словно не шел, а летел.

Летая над клумбами и над дорожками, засыпанными лепестками жасмина, он много смеялся и щурил на солнце свои небольшие припухшие глазки. Она уже знала, что кончится лето и он пойдет в армию.

Бабушка, страдающая за маму, нелепо влюбленную в мужа, который ее то терзал, то бросал, то снова терзал, а то снова бросал, в то ясное утро сидела на лавочке, и рядом с ней был узкоглазый Володька.

— Вернешься из армии, будешь работать. Найдешь себе барышню, может быть, женишься...

Она говорила, не думая, просто желая сказать что-то очень приятное.

— На Верочке вашей женюсь, — засмеялся визгливо Володька, — пойдешь за меня?

Ей было шесть лет, а она покраснела, как взрослая женщина, вся запылала. Потом сняла ленту, и волосы сразу посыпались сверху на голые плечи. Она послунявила палец и быстро пригладила брови, как делала мама.

— Давай догоню, — предложил ей Володька.

Игра началась. Вера бегала быстро, а этот веселый тщедушный Володька, не подозревавший, какие сюрпризы ему заготовила жизнь, хохоча, летал за ней по аккуратному саду, поскольку он сам был почти что ребенок. Он вырос в семье хоть и бедной, но строгой. Догнав, он схватил ее сзади за локти, потом вдруг подкинул, как будто она была то ли куклой, а то ли мячом.

— Сказал «догоню», и догнал, — он смеялся, но вдруг, посмотрев на нее, перестал. — Ты плачешь, Веруська? Тебе что ли больно?

Она, шестилетняя, плакала горько. И он испугался.

— Ты что?

— Что-что? Ничего. Я устала!

Володька пожал в удивленьи плечами. Пошел по тропинке, усыпанной свежим, скользким жасмином, к террасе, откуда их звали обедать, где бабушка уже разливала зеленые щи по белым глубоким тарелкам.

Веру уложили спать, как всегда, в половине девятого, но она не спала, и сердце внутри ее детской груди то громко стучало, то вдруг замирало, а то начинало вскипать, как вскипает малина в тазу, когда варят варенье. Странные, дикие желания одолевали ее. То ей хотелось выпрыгнуть из окошка, и прямо как есть, босиком, побежать к Володьке, в сарайчик, и честно сказать, что ей бы хотелось пойти вместе с ним, куда он прикажет. И в армию тоже. Она представляла, как он удивится, но тут же обрадуется, засмеется, оближет свои малокровные губы и крепко обнимет ее. Ах, как крепко! А то ей хотелось его ущипнуть, а может быть, даже ударить. Все тело ее как-то странно гудело.

На следующее утро Володька уехал, и Вера его постепенно забыла. А через два года, тоже летом и тоже на даче, бабушка вдруг спросила ее:

— А помнишь Володьку?

Она покраснела, и бабушка тихо сказала:

— Он умер.

— Его что, убили? — спросила она.

— Да нет, не убили. Хотя как им верить? Сказали, что умер от кори, и все. Теперь не вернешь. Погубили парнишку. Такой был простой. Ты, конечно, не помнишь. Играл с тобой в салочки здесь, хохотал...

И бабушка вытерла слезы ладонью.

Известие о Володькиной смерти сначала испугало Веру, но потом ей стало казаться, что она никогда и не знала никакого Володьки, никогда он не приезжал к ним на дачу, не ночевал в садовом сарайчике, не бегал за нею по этим дорожкам, ее не подкидывал в воздух, как куклу, не зная, что Вера его полюбила, не зная, что жить оставалось два года, не зная, зачем он пришел сюда в виде прыщавого и говорливого парня, а скоро уже уходить, улетать и вновь становиться бессмертным и вечным.

В восьмом классе в школе появился новый учитель английского языка и английской литературы. Фамилия у него была, как у композитора: Бородин. А звали Андреем Андреевичем. Он был молодым, говорил резким басом, глаза его ярко синели на солнце. Старшеклассницы начали волноваться и подводить веки. Колени их нежно скрипели чулками, и звук был похож на морской

звук ракушек, когда их потрешь ненароком рукою. Про Андрея Андреича тут же стало известно все или почти все. Он был женат, и у него была семилетняя дочка. Пришлось рассмотреть эту дочку придирчиво. Обычный ребенок, косички, носочки. Потом рассмотрели жену. Одета небрежно, лицо, как у этой... да, как ее? Древней? Ну, у Нефертити. Такие же губы, глаза, нос и уши.

И кто-то сказал:

— Да он ее бросит и не оглянется! Хотите поспорим?

Но спорить не стали: и так было ясно, что бросит. Станный был взгляд у Бородин: он устремлялся в самые зрачки собеседника, словно для того, чтобы собеседник сдался, не выдержав этой загадочной силы. Потом он свой взгляд отводил и при этом немного бледнел.

— Почему у тебя такая странная фамилия: Переслени? Ты что, итальянка? — спросил он у Веры.

Она была самой красивой из всех и самой худой, но при этом насмешливой.

— Нет, не итальянка.

— Тогда почему?

— Я точно не знаю. Мой, кажется, прадед приехал из Швеции.

— Из Швеции? Прадед?

— А может, прапрадед.

И Вера блеснула глазами. Тогда он сказал:

— Ты меня обманула.

— Я вас обманула? Да как я посмела?

— Ты любишь обманывать, — он усмехнулся. — Зачем, я не знаю. Наверное, для этого были причины.

Ей вдруг показалось, что он понял все. И сразу же стало не то чтобы стыдно, но весело и хорошо на душе.

Она была лгуньей, но не потому, что в этом искала какой-нибудь выгоды, а лишь потому, что судьба ее с детства сложилась так странно, что ей было легче, когда посторонние в душу не лезли.

Отец ее, Марк Переслени, считался талантливым драматургом, но из всего написанного им только одна пьеса шла на малой сцене Художественного театра и большого успеха не имела. Он рано встретил ее мать, очень быстро женился на ней, родилась сероглазая девочка Вера, которую он не успел даже рассмотреть как следует, потому что на седьмой день после родов переехал обратно к своим родителям, сославшись на то, что младенческий крик мешает работе. Несколько раз в году его засасывала тоска, от которой Переслени однажды прыгнул из окна, в другой раз топился и даже пытался повеситься. К счастью, а может быть, для того, чтобы продлить его испытания, ни одна из попыток не увенчалась успехом: прыжок закончился многочисленными переломами, из воды его вытащили и путем искусственного дыхания вернули к жизни — об-